



(начало на стр.1)

После ельцинского переворота мы с ним уже не гуляли в Коктебеле по набережной. Тяжелые вести приносила оттуда молва.

Как-то я застал на его столе толстенный том "Воспоминаний о Максимилиане Волошине".

— У-у, аж семьсот страниц. Дай на денёк-два почитать.

— Листай при мне. Ты любишь долго держать, а то и не отдавать. А мне дак "Записки" Смирновой-Россет зажал, наслаждался сам, про имение Языкова журнал заматол, про Фитцджеральда держишь года два, "Дневники" Алексея Вульфа царского издания припрятал, письма отца Нащокина, говоришь, верну, а я их в своём шкафу не вижу, ну и "Окаянные дни" Бунина того же тоже затерялись. "Мою жизнь дома и в Ясной Поляне" я от тебя спрятал, — с улыбкой перечислял поэт мои воровские грехи, не укорял, не бранил, а разыгрывал сцену бурчания какого-то книголюба, каким он и был.

— Признаю с покаянием, — подражал я его манере, — сознаюсь, что я книжная шашель и порядочный воршище, но вашей честности стыжусь и всё в конце концов возвращаю. Воровал ли я у друзей и знакомых в Москве? Приходи, я раскрою шкафы, переберем, и, если что, пахоту чужих сокровищ замечу, сам сниму и с колен тебе преподнесу.

— Иногда воровство редкой книги у кого-нибудь пусто — благородное дело, — поддавался моему игре Николай Степанович. — Но я всегда проявлял воспитанность и потом порою жалел, что не положил осторожноенько в портфель.

— Волошина бы я не украл, а что-нибудь вкусное про Коктебеля... тут не ручаюсь. Мы всё-таки советские. Вот эти лица, заполнившие книгу воспоминаний о Волошине, не позволили бы и пошутить на эту тему. Они другие. Мы никак не поймем, что царская Россия — напрасно потерянный мир. Коктебель... Из-за этого проклятого переворота как туда ехал? Киевская Русь — другая страна. Я через Керченский пролив не могу перебраться с прежней лёгкостью.

Николай Степанович раскрыл книгу на 475-й странице.

— Послушай. "Сразу за Феодосией начиналась холмистая степь, покрытая ковылём, полынью и маком".

— Эта дорога нам знакома. Через Виноградное, какое-то тихое и грустное, словно оттого, что у него отобрали родное татарское название Курубаш, ездил я и с Ольгой, и один. Вот Ельцин в самом деле украл у нас редкую книгу: Коктебель. Хохлы там хозяйничают, всё дорого, через пролив поезд Баку — Симферополь паромы не перевозят, катера из порта Кавказ и Тамани проданы, всё как-то осквернено и проклято. А я помню, как ты весной и осенью собирался с Шурой, все как-то трепетно и жадно леплея завтрашнюю поездку. И всегда потом писал мне на открытке (с изображением Сюрю-Кая, Кара-Дага, Гурзуфа), что "проезжал твою Пересыпь".

— Счастливые дни.

— А где же твой восторг? Стихи про Коктебель где? — строго, но по-прежнему играя, спрашивал я.

— Я там не писал стихов, только восхищался. Никогда не мог писать там, где побывало столько великих имён.

— Это в тебе крымская застенчивость. Принименность. Это даже хорошо.

— Но есть что-то. Немножко.

— Что-то! Зря тебе там повариша, с которой мы дружили, добавку приносила. Что-то! Рос в симбирской деревушке, возле имения Языкова, по той колее, где Пушкин проезжал, хаживал, а поэзией не надыхался.

Оба смеялись, ещё некоторое время дразнили друг друга шутками, Шура ставила кружки с компотом, тарелку с пирожками, я уже забросил том о Волошине в портфель, и какую-то щемцающую волною стали прибавлять к душе воспоминания о береге с драгоценными камушками. Николай Степанович тоже удалился к золотым коктебельским дням.

— В первый раз я был тиги воды, ниже травы, — сказал он.

— Да уж куда тебе тиги-то? Ты тихий-тихий. Робко-тихий. Я с тебя писал монашка в романе о Екатеринодаре. Ты обычно стоишь сбоку и слушаешь. Тебя как будто и нет. Я и не могу представить, что потом ты в Коктебеле стал громкий.

— Но всё-таки я перестал стесняться, что пишу стихи, после того как приставили ко мне на набережной (видно, никому не был нужен и скупал) дряхленький старичок убедил меня, что Коктебель собирает самых немислимых типов и никто никому и ничему не удивляется. "Бы, я вижу, одиноки, я тоже, давайте проведем сезон вместе, мне будет что вам рассказать, поэт из Карагадана, но глубоко русский, пишу романы в стиле Вертинского, Морфесси и Михаила Ваича". На третий мигунте он уже раскрывал сейркат, как в одна тысяча девятьсот тридцатом году видел здесь на берегу голого Алексея Толстого. Тогда Коктебель был пустой, купались нагишом.

— А я... Я приехал, устроился в дощатом домике у забора, где обычно размещали службу Союза писателей и прочих неглавных дам из писательской полипликини, каких-нибудь парикмахеров, секретарш. И Ольга моя потянула на восток собирать камешки: халцедон, опал, сердолик, яшму. За пять-семь лет все камни выбрали москвичи! Я как-то быстро натолкал в свои карманы. И ходил вдоль воды, наклонялся, что-нибудь выбирал, крутил в пальцах и сбрасывал благообразный, в белой круглой шапочке Мануйлов, пермонтовед. А я то и дело ездил в Тамань, писал как раз "Осень в Тамани", и, видно, произиёс Ольге что-то вроде: "В Тамани камушков нет" или похуже. "А вы из Тамани?" — спрашивал профессор и подступал поближе. Так познакомились и разговорились. Он, конечно, не читал меня, но фамилию мою знал, потому что переписывался с тем же белым офицером в Париже, что и я. И, как нарочно, через день услышал мою фамилию "твой", как ты говоришь, Олег Николаевич. И тоже подошёл. Мы мгновенно сблизились. Вот как всё чудесно. Таинственная Россия украсила мне июль в Коктебеле.

— Мне, Витя, деревенскому, в первое время всё вокруг тайлось загадкой. Сюрю-Кая, Свята, Хоба-Тепе, Тлапрак-Кая, Еким-Чек, Кучук-Енишары ещё были для меня безымянными, звали к себе молчаливо. А москвичи уже всё знают, они тут давно свои. И дальние гости (из Средней Азии, с Алтая, из Сибири, даже с Камчатки) казались иностранцами. Такая огромная была у нас страна!

Шура в мгновение нашего грустного сожаления (что всё кончилось) тихонько появлялась с подносом, медленно протягивала к столу бутылочку вина, через минутку добавляла тарелочку с закуской и понимающе оставляла нас утешаться своими вечными литературными разговорами.

— Я ведь как туда ездил... — говорил Николай Степанович. — Я не знаменитый, как ты, меня москвичи не подкидают, как тебя, с вином у ворот да с пирожками. Не просятвляю меня во хмелю, не зовут посидеть сбоку на теннисной площадке. К ларькам на набережной я подхожу выпить только томатного сока, к аппетитным шахтеркам не приглядываюсь. На майские праздники никакие московские шалавы ко мне не приедут, в Феодосию в ресторан я не помчусь,

ну и все прочие лёгкие удовольствия мне не нужны. Мы с Шурой знакомим чемадчанчик, идём в столовую здороваться с нашей поварихой, а потом я скоренько спрашиваю, выдаёт ли в библиотеке свежие журналы Анна Ивановна. Кроткая, приветливая.

— Я помолчу, хоть вёл себя ещё скромнее. И Анну Ивановну тоже поджидал. В первый приезд я брал у неё тома историка Костомарова, царского издания. Вообще первый день, особенно апрельский, после зимы (ещё деревья голые, только иудино дерево озаряется тоненькими красными точками) напоминает душевный. Никого нет, в столовой человек десять, шахтёры приблудт в начале мая (им позволялся один поток), Кара-Даг с профилем Волошина манит, и ты пойдёшь по кромке в Лягушачью бухту, под самую скалу, волны бьются, одиночество великое, порою боязно чего-то, и так покорно чувствуешь себя, благодаришь за счастье присутствовать в Коктебеле, о котором где-то когда-то, в студенческие годы, читал не то у Паустовского, не то ещё у кого-то знаменитого, и не мечтал, что однажды увидишь это; и вернёшься к белой столовой, пойдёшь на восток, в сторону горы с могилой Волошина, волны стегают берег, тащат гальку, тут тоже ещё

## У горы Кара-Даг

никого, наутро вдруг прибывают какие-то знакомые тени, но не близкие тебе, ждёшь своего, обнимаешь как родного.

Николай Степанович благословлял моё чувство тонкой улыбкой.

— А я ходил мимо дома Волошина и всё хотел подняться к Марии Степановне, полвека жившей без Макса. Она часто отдыхала на высоком балконе, и кто-нибудь из москвичей (ну там критики, составители академических томов) кивали ей снизу, а кое-кто бывал у неё как желанный, и я безобидно считал себя недостойным. Но я — ты же меня дразнишь "любопытной Варварой" — как-то напросился, и твой дружок, златоуст Олег Николаевич, запросто потащил меня к ней. Он бойко поболтал, хлётко отчитал Мережковского, посмеялся над Брюсовым и ушёл. А меня Мария Степановна ласково тепела часа два. Я беседовал с ней по-деревенски: спрашивал о том, о чём москвичи спросить бы не вздумали: они ведь всё знали! Про всех, кто тут бывал, расспросил. Я же родился в деревне, мне и сейчас кажется, что я не знаю столько, сколько городские. Их ничто не удивляет. Я мальчишкой ушёл на фронт, не доучился, а стихи читал и писал дотемна. И в Литинституте то, что другим было скучно, надоело, чему они не только не удивлялись, но с издёвкой бранили, я хватал, часто восторгался. Олег Николаевич поражался, зачем я хвостом хожу за Анастасией Цветаевой, камешки с ней собираю да тоже спрашиваю, пристаю: а этот? а тот? Ей девяносто лет. А некоторые поздние дамы и господа-товарищи этак мило и скрытно вздыхали по прошлому, советскую власть не любили, на Марию Степановну глядели, как на реликвию. Только оттого, что она была женой Макса Волошина. Вечерами прогуливались, обсуждали политические нюансы, поминали высланного Солженицына. А теперь уж там никто не бывает. Случайные лица только.

— Белогвардеец, пушкинстик Раевский не поговрит о Дарье Фикельмон. Бабороке не поделится письмом из Парижа от друзей Бунина. Марья Степановна умерла. Да многих уже нет. Поздняя тыуческая родня не помолчит у белой балюстрады. И Люся, жена моего друга изУтятки, не прочтает целый пучок стихов Боратынского, Фета, Рубцова, Набокова. Думаю, что и вкусный томатный сок уже не продают в ларьке...

— И вижу, — сказал Николай Степанович печально, — как там зимой пусто, и профиль Волошина на Кара-Даге освещаю его же стихи. "Его полныи хмельная моей тоской, мой стих поет в волнах его прилива, и на скале, замкнувшей зыбь залива, судьбой и ветрами изваян профиль мой".

Я выдёргивал из портфеля толстый том, раскрывал наугад.

— Вот одна балерина писала: "В Коктебель я приехала впервые 19 апреля 1926 года. Был холодный, пасмурный день. На море бушевал шторм. Возница остановил лошадей на проезжей дороге". Возница! От Феодосии на телеге, в коляске. Как хорошо, вербовитио. Держалось на земле ещё медленное время. "Дом Волошина", — сказал он, взмахнув кнутом в направлении моря. Кругом было полное бездушие...

— Да и я, когда начинал ездить, застал Коктебель тихий, малополудный, это потом раскусили его прелести и повалили туристы с рюкзаками да ученые, а я и балерину эту видел, старуху, меня не знакомили.

— На странице 567. Слушай, Коля, тебе понравится. "Море в Коктебеле простое и древнее, как Гомер". Здорово, правда? Хотя... тоже декаданс. Сказано ради литературы. Я удаляюсь, Николай Степанович, в свой чулан с книгами, прилягу помослюить воспоминания о Максимилиане Волошине, которого ты любишь (а я так себе), и уж этот декадентский том не заматаю, а зупру как-нибудь дорожные записки Яхушкина, там псковщина. Изборск, чудные крестьянские разговоры. Не терзай меня молчалием.

— Посиди, — говорил поэт. — Не всё ещё сказал о Коктебеле.

— Если бы Шура налила ещё, я взглянул бы на Коктебель глазами тех, кто писательскую жемужжину посетить не может. Но если бы Гоголь по путевке Литфонда спустился вниз, постоял у белой балюстрады, подождал, когда станут выходить из столовой сытые волшебники слова, то сразу бы узнал и болтающего Ноздрова, и деликатного Чичикова, и Собакевича, наступающего на ногу редактора издательства "Художественная литература", и Плюшкина, прибравшего со стола бутылочку ряженки, и ещё кое-кого из своей поэмы и пьесы "Ревизор". Всего за один день наблюдательный Гоголь натаскал бы ярких персонажей в ненаписанный 3-й том и кое-кого из ненужных переправил бы ко мне, сирому и убогому члену Союза писателей. Думаю, легко разместился бы в 3-м томе Евтушенко. Душный чуланчик отвели бы мы с Николаем Васильевичем и какому-нибудь драматургу. Я бы и раз, и два описал всё тот же очаровательный день заезда. К вечеру с ужины вышел из двери столовой почти приятель Гоголя, насмешник и автор весёлого представления "Вот идёт пароход", детина росточку под крышу купеческого дома, не один, а с выводком (три дойные дочки, зять из "Комсомолки" ну и счастливая жена). С Коктебеля драматург только начинае укреплять здоровье, попорченное зимой выпивками и закусками в Доме кино, у литераторов на улице Герцена, у журналистов, актёров; живёт, наблюдая за скалистыми профилем Волошина, два срока, после, не заглядывая в Москву, перебирается в абхазскую Пицунду, оттуда через месяц на пароходе в Ялту в Дом творчества на горке, по следам "дамы с собачкой". Ещё попозже поездом из Симферополя ненадолго в Москву, а там уж поспевает почти заграничная радость — грузиться на Рижском вокзале в Дубульки, на балтийский бережок, поближе к западному стилю, туда, где всё лучше, чем в Московии; к холоданию полезнее обосноваться в Передел-

кино (чтобы не тратить время на домашнюю кухню и на магазины), а когда крепко уляжется снег, подъехать в Голицыно, где любят на малой земле отдыхать гениальные наши переводчицы (Рита Райт и другие), ну и через отмеренный срок положено проводить Малееву (она рядышком), да в завершение приткнуться уже без жены в любимом доме отдыха артистов Малого театра под Рузой (в Болшее) и оттуда, чтобы уже отдохнуть на все сто, пожить народной жизнью в Карабихе (у покойного Некрасова), да заодно, до очередного Коктебеля, после передышки в Москве, спектаклей, гонораров, застолий в тех же Домах (актеров, писателей, журналистов) просеменить ещё в Щельиково (к покойному Островскому). Так проходит тяжёлая жизнь сатирика.

Я театрально вставал, кружился, по-актёрски кланялся и выкидывал руку к Николаю Степановичу.

— Откуда в тебе это желание поиграть?

— В Коктебеле мы с Олегом частенько разыгрывали сцены. И, когда вспоминаю что-нибудь, как было весело, как сочно копировали писателей, хочется прослезиться: это кануло навсегда вместе с тем Коктебелем, меккой людей искусства, а не всякого туристического сброда. Я

всё-таки удаляюсь, я кланяюсь вам, тонкий лирик, уношу в этом томе Сюрю-Кая, Кара-Даг, Лягушачью бухту.

Друг мой зауральский из деревни Уятка, отвлекись от рыбалки на Акулинкином озере, повернись в прошлое, побудь с минутку чутким, вспомни вместе со мной, как в ту осень, когда мать моя Татьяна Андреевна появилась в Пе-



ресыпи, ты, переночевав на полу в хате, ещё занятой прежней хозяйкой, выбрался на заре в путь к переправе, жадно поспешил в Коктебель. Через неделю, переписав хату на отчима, в том же раннем часу повлёкся я вслед за тобой. Перед этим я перечитал августовское письмо Олега Николаевича, с которым ты уже разгулялся по набережной. "Из дальних странствий возвратись...". Или так: как быстро утомял меня Кавказ. В последний раз я едва мог слышать клевет гортанный уже лищённых кинжалов аварцев и даргинцев. Но как тяжело было солдатам Ермолова и Барятинского! Я в Москве. Снова бегу в трубе с привязанной к хвосту банкой. Но зато — сплю доволь. "Державин" мой ещё не завершился. Возьму листы и в Коктебель. Вера вступал в штабе Варшавского блока вместе с героем шолоховской "Судьбы человека", ныне заведующим кадрами ВВС, генерал-полковником, который в плену принял имя то, которое Шолохов дал герою. Рассказывал потом за рюмкой, как ему писали, что не может быть того, чтобы голодный и измождённый пленник выпил три стакана водки и не свалился. В одном совхозе даже сделали эксперимент: воссоздали условия (не или долго и выпили свои норму) директор, главбух и главный инженер — все свалились. Он решил им ответить: "Вы никогда не можете воссоздать тех условий, в которых был я. Под дулом пистолета хмель действует совершенно по-другому. Красавец. Его любилось — поговорка Суворова перед атакой: "Впереди Бог, я за ним, не отставай!". Целовались на прощанье. Думаю о Коктебеле. Мечтаю. Надеюсь, что и ты всё-таки приедешь. Целую и жду встречи в павильоне — за шахматами с Миколой Шереметом. Ведь всё держится только традиций — О.М."

Звал он меня к себе всегда, я тянулся к нему, любил его слушать, первое время побаивался его громкости, умения плести речь сочно, то растягивая слова в мудрой задумчивости, то ударно вскрикивая. Как мне нужен был тихий Николай Степанович, что Олегу Николаевичу такой преданный слушатель, как я. Да и ты, такой же покорный поклонник блестящих московских умниц из литературной среде. Вот к вам я и поискал пообщаться. С переездом ли матери это связано или ещё что-то закралось вещее, но забыть ту осеннюю прогулку не смогу...

Сам отъезд в Коктебель из Пересыпи представлялся счастьем, и теперь каждое мгновение теребит мою старую душу невозвратностью.

В пятом часу матушка разбудила меня, успела поджарить картошку, отчим ещё спал, я вышел к белому клубу с колоннами караулить автобус Темрюк — порт Кавказ. Ночная темнота уже раздвигалась, первый свет очинил углы и просторы, две-три колхозные машины вылезли из гаража, направились в Ахтинзювскую, не знакомые мне пересыпцы подступали к стоянке, тоже ловили на мосту через горло двуглазое дрожание автобусных фар. Наконец длинная туша его вырвалась на дорогу, все зашевелились и сняли с земли свои сумки и портфели. Народу в Темрюке набилось порядочно, все тоже проснулось рано, женщины успели подвести глаза, губки, пахнут духами, каждая таит в себе свою историю, в дороге кажется вечно недоступной и даже вредной. Теснимся, подбираем пассажиров в Ахтинзювской, я острее, чем всегда, живу текучими впечатлениями. Вот протрянулись линией белёные хаты, кое-где во дворах беспокоятся женские фигурки, станичное правление ещё мёртвое, магазины на замках, за окошками ещё дремлет и стар, и млад, а мы, жаждущие Крыма, миновали гору Блюкова, затем слева гору Бориса и Глеба, повернули от хутора Солёного на Сенную, проскочили указатель на Тамань и понеслись сбоку станицы Фонтальной, Запорожской к косяе Чубука. Матушка уже досыпает не приляжет, проведает за ошавкой зерна курочек в сарайчике (хозяйка оставила), выберет в солёные ящики, съедет, может, писать сестре в Топки. "Во-первых строка сообщая тебе, что Витя мой поехал нынче в Крым к писателям, а я пропущу тебе, как мы устроились...". Узенькая коса Чушка, маленький порт, катер "Пион" (как род-

ной) качается у причала, ранняя касса открыта, я протягиваю 75 копеек, спускаюсь по сходням, занимаю местечко на корме. Тонкая приятная струйка сквозит в душе: я еду в Крым, через час будет Керчь, кафе у пристани, манная каша с кружком масла, кофе, недалённая тропа к автостанции, дорога к Феодосии мимо станции Семь колодезей, все ближе и ближе мои друзья в Коктебеле.

Солнышко уже оросило нежным светом пролив. Справа за мысом — Еникале, а нам бороздить вдоль длинного берега. Нет-нет да и повернусь я к яго, поищу вдаль у горизонта Тамань.

Там тоже проснулись мои сибирские друзья Вера и Володя. Там уже поставили возле хаты Царицыны памятники Лермонтову. Пишу сейчас и говорю тебе в далекую Уятку: человеку не дано предвосхищать будущую утрату, и он во всей полноте не ценит миг отпущенной ему радости.

Только на бумаге и могу прочертить прежнюю дорогу в Коктебель, пережить все уже со скорбью.

В Феодосии, по осени безлюдной и почти сельской, ко мне выбегает шофер такси, называет сумму, услужливо кладет мои тяжести в багажник, трогается, оживляет путешествие разговором. Я как-то весь притягиваюсь ко встрече с тобой и Олегом.

Часто стою с вами перед ужином у ларечка за домом Волошина, угощаю по случаю моего новоселья в твоей комнате хересом ("вином комонавтов") и слышу взбодрившийся голос Олега Николаевича: "А я, мой милый, уже набарабил половину "Державина" и готовлюсь к Бородинской битве под началом Кутузова, а засим, дай Боже, двинусь с Ермоловым на Кавказ". В другой раз у дальнего ларечка мы пили тот же херес и передразнивали наших партнёров по карточной полнотной игре, благо их не было рядом. Смеялись над тем, что "упорно ра-

пушкинство, всё ходившему с томиком стихов Поля Кнопеля, которого он по нашей просьбе иногда читал по-французски. Было такое удовольствие слушать их разговор о белых офицерах, о боях в Крыму, о Врангеле. Убогие мои старания не передадут всей прелести мгновенного русского согласия старого и молодого, будто давно друг по другу скучавших, чем-то тайно родных.

После ужина мы гуляли далеко, а когда шли назад, ларёчек приманул нас ещё разок, и мы вкусили винца с особым удовольствием. Олег Николаевич тебя полюбил, наверное, за робость, деревенское почтение и вопросы, которыми ты в беседе козыряешь невольно. Ты уже наспулся его за неделю, уже сводил он тебя к Марии Степановне, Коктебель тебя заворочил легендами и Лягушачьей бухтой, и ты что-то царापал перед мной в своей тетрадошке. Олег повёл нас к себе в третий корпус, стал громко читать с листа.

— Ах, маменька, маменька, ненаглядная Фёкла Андреевна! Ежели бы ведала ты, что понаделал-понатворил сынок твой, сержант лейб-гвардии Преображенского полка Гаврило, сын Романов Державин! И наследственное именице, и купленную у господ Таптыковых небольшую деревенюшку душ в тридцать — всё как есть заложил, а деньги до тринки просадил в фараон!

Я буду ещё шесть лет коптить героев моего романа о Екатеринодаре, а наш беспечный златоуст настучит клавишами биографии Кутузова, Ермолова, Куприна и легко-легко напишет грустный роман "Час разлуки", который посвятит мне.

— У меня характер театральный, — говорил он. — И шумный, как... у гоголевского Ноздрова. Да что! Мир меня ещё терпит. А не засядем ли мы нынче за партию в покер? Мой милый? На новосветское шампанское! Симфония!

И если бы ты не прятал от человечества свой прерывистый дневничок, не скромничал, то нынче, когда наше коктебельское царство кончилось, угодно было бы оказать внимание некоторым эпизодам. У меня коктебельскую желтую тетрадку сворвали "любители литературы". Но я почему-то резко запомнил четыре дня, которые прогулял с вами, вы меня уговаривали задержаться ещё, я беспокоился о моих родных поселенцах в Пересыпи. Звучала бы нынче горько-щемцающая повесть, если бы записывали мы тогда все посылки и прогулки по набережной. А не сочинял ли в те же дни рассказ "Воспоминание о Соколе"? Я часто перечитываю сей шедевр. А разве не захочется тебе повспоминать, как на набережной стужалась в маленькую толпу писательские братия, как к двум-трем подходил кто-то ещё, а потом прибавлялись новые лица, каждый завлекал чем-то своим (анекдотом, шуткой, остроумным зпословием или страничкой истории самой литературы, шармом знаменитого писателя; да и далекие покойники Пушкин, Лермонтов, Державин или Куприн как-то дружески утешали встречу чем-нибудь этаким; да и в какой-то миг государи, великие князья, фрейлины или генералы по-своейски наполняли компанию поздних советских писателей в Коктебеле) и круг растопыривался, утешался, и всё чаще слышался взрывной смех. А кто-то являлся с запозданием.

— Внимание, — объявлял Олег Николаевич, — с ракеткой надвигается наш любимый Мыкола Шеремет. Смотрите, как он хорош! помесь заорожца с турком. Глаза щурятся лаской. Приготовься, сейчас он устроит эмоциональный приговор "Осени в Тамани".

И точно: Мыкола Спиридонович обнял меня и сказал интонацией докладчика:

— И я прочитал вашу "Осень в Тамани" с наслаждением. Что-то гоголевское есть в вашем Юхиме Коростыле, заворачивающее мою душу. Вы настоящий поэт в прозе. У вас хороший эмоциональный накат. Ну, такая радость. Спасибо. Моя Вера Михайловна тоже в восторге. Всё это вдохновение, надеюсь, черпаете в коктебельской Лягушачьей бухте.

— И, возможно, в поэтическом ежевечернем созерцании станкачина хереса, — закончил с ехидцей Олег Николаевич. — Как хорошо стоим, друзья мои. Может и правда, черпанем немножко вдохновения в ларечке. Будем вспоминать этот вечер. Всё пройдёт, будем жалеть. Последуйте, господа, за мной!"

И разве не поминишь, как все-все пошли ещё дружнее к высоким круглым столикам, чем стояли у белой балюстрады напротив столовой? Если бы это повторилось....

Уже после ельцинского переворота Олег Николаевич, живший после развода на улице маршала Васильевского, позвал меня, я у него нечаял, пили, представь себе, херес и слушали Лучано Паваротти; Олег повторял и повторял: "У-у, какой божественный голос...", крестился и плакал, потом несчастно сказал: "А ведь мы и в Коктебеле чуточку слушали его, у меня была кассета... Господи Боже мой, если бы ты пожалел нас и вернул нам наши дни... хоть ненадолго. Мы бы, может, догадались дорожить своим счастьем..."

О Коктебеле писал Константин Леонтьев. Все собирали камешки, кроме меня, Петелина, Чалмаева и Дмитрия Жукова.

Я раскрыл эту приятную тайну недавно и написал семь строк великого не очень счастливого Константина Николаевича. "Морской берег у горной деревни... Коктебель славится красивыми разноцветными камешками, и многие собирают их. Лиза хотела давно туда съездить: мы пошли одни и долго собирали у моря; собирали, но она забыла их на первом ночлеге".

Помаленьку ко всему привыкаешь, даже к счастью, которое принесло нам занятие литературой. Многие и многих повидали мы благодаря литературу. Никогда бы я не приблизился ни к Олегу Николаевичу, ни к его другу Петру Васильевичу; не поздоровался с белогвардейцем Николаем Алексеевичем Раевским, полным, каким-то круглым, будто забывшимся к нам, советским, из старой царской России; не гостил бы на даче в Абрамцеве у Юрия Казакова; не читал записку на заборе в Тарусе у дома Константина Паустовского, а Владимиру Личину не повторял ириво комплимент критиков, что он пишет так узорно, будто легко бьёт себребяными копьятами; да и не исчислил всех благ, дорогих дней и минут, не перебрать всех писем и не выразить толком сожаления, что я и тебя бы, белесо-рыжий автор "Воспоминания о Соколе", никогда не встретил и в Уятке твой не побывал, Люсиного чтения стихов не послушал. От Гомера, Овидия, Горация до Александра Решетова из Перми протянула она ниточку и завязала в своей памяти тугой узелок. От неё я и узнал стихотворение Решетова "Цыганка". Уж тебе-то она частенько читает. "Цыганка из Перми второй легко руки моей касалась, И милой старшего сестрой, А не гадалкой мне касалась. Она бесовестно вралла, Но так в глаза мои лгала, И так падла моя брала. Что счастьем не было предано...". И не было бы писем из Парижа — от белого офицера С-онского, от Бориса Зайцева и Георгия Адамовича, которых мы без конца поминали с Олегом в том же Коктебеле, и не побывал бы я с Олегом на могилах Романа Гуля и Александры Толстой в Новодивееве (шат Нью-Джерси), да и матушку не смог бы перевезти из Сибири к Азовскому морю в Пересыпь. Так я на старости лет был поклоню литературу.

**Виктор ЛИХОНОСОВ**